

В феврале этого года исполнилось 80 лет со дня рождения Бориса Николаевича Сергуненкова. Первый рассказ писателя был опубликован ещё в 1956 году. Писатель, живущий ныне в пушкинских местах на Псковщине, занимает особое место в русской прозе. Он создал художественный и духовный мир самоуглублённого художественного сознания. Этим объясняется его оригинальность как художника и эссеиста. Поздравляя Бориса Николаевича, нашего давнего автора, с большим юбилеем, мы публикуем его размышления, навеянные постоянным соприкосновением с пушкинскими краями, с теми заветными приметами жизни, которые "...согласны с чувствами души..."

БОРИС СЕРГУНЕНКОВ

ПРИМЕТЫ ДУШИ

*Мечтанью вечному в тиши
Так предаёмся мы, поэты;
Так суеверные приметы
Согласны с чувствами души.*

А. С. Пушкин

* * *

Я стоял на Дериглазовском мосту через Сороть. Речная рябь подо мной то слепила золотом под лёгким ветерком, то чернела серебром. Ласточки носились над мостом. Справа желтел лужок, полный распустившихся одуванчиков.

И я подумал, глядя на них: лето ещё не началось, ему жить да жить, а их, одуванчиков, век уже заказан. И дело не в том — сто лет длится век или одно мгновение, а в том, что ты родился на этот свет и умираешь. Или точнее: родился, умер и возродился.

* * *

Перед Троицей пошел я окашивать тещину могилку и встретил на кладбище Константиныча. Год назад у него умерла жена, и теперь он ставил ей памятник. Мы разговорились. Он рассказал, что Зоя, его жена, захотела лежать в могилке захороненного ранее деда Юшки, а он, Константиныч, будет лежать с ней рядом. (Для себя он несколько лет назад сковал железный крест, и теперь тот стоял в сарае, дожидаясь своей очереди). Ещё он сообщил, что памятник жене привёз из Пскова, и стоит он двенадцать тысяч; что были подешевле из серого гранита, за три тысячи, но он выбрал подороже и

покрасивее — отполированный, черный. Он рассказал, какие в гранитной плите есть штыри, и как он один, без чьей-либо помощи, изловчился установить и зацементировать плиту, для чего подставил кирпичи, а эпоксидной смолой приклеил фотографию.

Ещё живя в Шантилихе, я обратил внимание на то, что местные жители хоронили своих родственников на родовом кладбище, на старых могилках своих предков; не где попало, а привозили из дальних деревень, и что особенно удивительно — из дальних городов. Там, в Клишковицах, и кладбище уже было не кладбище, а дремучий лес — так буйно разрослись на нём ели и осины. Деревни вокруг умирали, поля зарастали, дороги исчезали, а кладбище оставалось живым и, кажется, не собиралось умирать.

Так было и здесь, на вороническом кладбище: Зоя, жена Константиныча, пожелала лежать в могилке деда Юшки, дед Юшка, в свою очередь, наверняка, лёг в могилку теперь уже нам не известно как звавшегося своего деда (или бабы), тот лёг в могилку своего деда (или бабы), — и от этого кладбище представлялось мне не кладбищем, а каким-то заповедным лесом, а каждая могилка могучим деревом, вершина которого устремлялась в бездну начал.

Константиныч был маленький, худенький старичок. Жил он теперь один, хотя у него были внуки и дочери. Сажал небольшой огород и ездил на своем грузовичке заготовлять на зиму дрова.

Найденный в могиле деда Юшки оловянный крестик, не зная, куда его деть, он прикрепил проволокой к могильной ограде.

* * *

Слышал по радио, как один русский монах из американского монастыря читал свои стихотворения. Одно стихотворение было про эмигрантов, русских беженцев: мол, не изгнанники они, а посланники.

И тут же был поправлен ведущим, что это мысль не его, а принадлежит Зинаиде Гиппиус. Жила такая в Париже, в русской эмиграции, поэтесса и жена религиозного писателя Мережковского.

Но дело не в этом, а в том, что действительно ли они, русские эмигранты, посланники? И если посланники, то чего? Жизни или смерти?

Недавно сын принес из интернета весть, что одним из тысячи русских православных мучеников (ещё не прославленный церковью) является некий Сергуненков Яков Сергеевич (не прямая ли ветвь отца?), рожденный в 1867 году в деревне Варварино Хвалынского уезда, церковный сторож то ли Рождественской, то ли Воскресенской церкви города Хвалынска, расстрелянный 12 декабря 1937 года в городе Вольске за то, что собирал деньги на храм Божий.

И вот, сравнивая и соединяя тех посланников, что были рассеяны по всему миру, и этих, расстрелянных на родине, задумываешься: а кто же тогда эти? И приходишь к мысли, что посланниками были и те, и эти; те, что были рассеяны по всему миру, являлись посланниками смерти и возрождения и эти, расстрелянные на родине, посланниками смерти и возрождения. Правда, одни при этом вкусили горечь чужбины, а другие сладость отечества.

* * *

Старый столичный писатель в сопровождении квартета: фагота, трубы, ударника и контрабаса — по бумажке нечёткой речью читал черновики стихотворений Пушкина. Первым исполнялся черновик стихотворения “Мне не спится, нет огня...”

Однако публика ждала иных развлечений. Раздавались крики недоумения, возмущения. Начинался бунт. Особенно старался обнажённый до пояса мужик, сидевший на траве прямо перед эстрадой.

Выступление длилось часа полтора. Будь оно в каком-нибудь модном литературном клубе в Москве, в Петербурге, в Нью-Йорке среди сотни рафинированной учёной публики, успех предприятию был бы обеспечен. Но на Михайловской поляне среди местных жителей оно давалось обеим сторонам с трудом. Публика, и так немногочисленная, скучала: она садилась, вставала, приходила, уходила, разговаривала, звонила по телефонам. Писатель го-

ворил, останавливался, замолкал, стоял, сидел, перебирал бумажки, брался за грудь.

Я знал его. В литературе мы начинали счастливо и вместе; были в добрых отношениях: дружили домами. Я взял его дочь в секретари, он носил мои сказки по московским журналам. Потом пути наши разошлись. Не ссорясь, мы отошли друг от друга. Он уехал в Москву, я жил в Ленинграде. Он печатался, я молчал. Он стал знаменит, я забыт. Трагические события в стране обострили наши противоречия. Его публичные речи ожесточили меня. Я видел в нём врага, сторонился встреч и избегал рукопожатий.

Была жара. Солнце пекло. Писателю было плохо. Казалось, он взялся за невыполнимую работу: подчинить непокорную ему стихию, и изнемогал в бессилии. Мне стало жалко его. А когда он стал читать черновик стихотворения, где Пушкин говорит, что Господь уготовил ему смерть на большой дороге, я вдруг подумал, что старый писатель читает стихотворение не о Пушкине, а о себе, что вот сейчас он возьмет и упадёт, и умрёт здесь, прямо на сцене. И это будет его счастливый конец. Ведь он всю жизнь так любил Пушкина! Я вспомнил, как он в молодые годы клялся, что никогда в жизни не появится в Михайловском – так для него оно было свято. И вот смерть. При чтении стихов любимого поэта в Михайловский праздник в самом центре святилища перед неблагодарной толпой. Это ли не завидная судьба?!

И я решил: Бог с ними, с нашими разногласиями, и он, и я, оба мы старики, и скоро предстанем пред общим судом, и мне не худо смирить гордыню и попрощаться с ним по-людски. Пусть Пушкин нас помирит. Ведь, наверняка, это последняя наша с ним встреча. И я сказал себе: когда кончится выступление, я подойду к нему и протяну ему руку.

Так я и сделал. Кончилось выступление. Я направился за кулисы. Мы не виделись с моим давним знакомцем лет двадцать, с начала так называемой “перестройки”. Я с трудом узнал его, так он постарел, но за кулисами он показался мне и бодрее, и деятельнее, чем на сцене. Подошёл к нему парень с просьбой дать автограф. Он подписал. Подошёл распорядитель концерта с извинениями за дурное поведение слушателей. Он внимательно выслушал его. У молодой женщины взяла пакет, проглотил таблетку, отпил из бутылочки глоток воды. Я стоял с ним рядом и окликнул его по имени. В первый раз он меня не узнал и посмотрел как на пустое место. Во второй раз я настойчиво потянул его за рукав. Он узнал меня и тоже посмотрел как на пустое место. Явились тележурналисты с камерой. Он стал поправлять шейный платок и готовиться к интервью. Третьего раза я ждать не стал. Я тихо отошёл от него, сел на велосипед и в смущении покатил домой.

* * *

К жене пришла гостья, и я, чтобы не мешать дамским разговорам и чтобы самому, пребывая в уединении, продолжить свое затянувшееся внутреннее молчание, укатил на велосипеде в Михайловское.

Я остановился и спешился на своем любимом месте – под усадьбой поэта. Был понедельник, в Михайловском было пустынно. Справа от меня синело озеро Кучане, слева золотился на солнце Маленец.

Были последние дни августа. На скошенных лугах доцветали осенние цветы, а у самых моих ног примостился распутившийся колокольчик. Был ветер, было свежо, я продрог и, чтобы согреться, решил подняться в гору и зайти в усадьбу, чего я обыкновенно почти никогда не делал. За домом поэта с северной стороны было затишье. С высоты сразу открылись новые дали: на Зимари, на Петровское, на дальние холмы и глухие сосновые леса. Образ осеннего колокольчика напомнил мне стихотворение Пушкина, посвященное владелице Тригорского Прасковье Александровне Осиповой:

*Цветы последние милей
Роскошных первоцветов полей.
Они унылые мечтанья
Живее пробуждают в нас.
Так иногда разлуки час
Живее сладкого свиданья.*

И я подумал, что человек, поэт, увидевший радость в горе, предпочеший разлуку свиданию, смог бы легко перенести и не такое заточение, какое преподнесла ему судьба.

В одном из своих писем Пушкин пишет о трёх царях, при жизни повлиявших на его судьбу. Двух! (Павла оставим в стороне). “Видел я трёх царей: первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку; второй меня не жаловал; третий хоть и упёк меня в камер-пажи под старость лет, но променять его на четвертого не желаю; от добра добра не ищут”. И в самом деле, при Александре Пушкин оказался в опале, был сослан на юг, потом в – псковское родовое имение.

Николай проявил милость, вернул поэта из ссылки, едва ли не протянув ему дружественную руку. А что же случилось на самом деле? Александр, отняв у Пушкина внешнюю свободу, дал возможность обрести внутреннюю.

“В глуши, во мраке заточенья” поэт воскрес душой. Николай, дав внешнюю свободу, отнял внутреннюю. В 1836 году поэт пишет в стихотворении “Из Пиндемонти”: “Никому отчёта не давать, себе лишь самому служить и угождать, для власти, для ливреи не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи...” Для воскрешения 1837 года нужно было новое Михайловское. Им оказалась роковая дуэль.

Интересно посмотреть на последнюю поэму Пушкина “Медный всадник”, в какой-то мере отражающую внутренний конфликт поэта. Царь (Пётр I) волен построить Великий город, но не волен построить Высокий город. Поэт устами царя (Александра I) говорит: “С Божией стихией царям не совладать”. Бедный Евгений сходит с ума, его невеста гибнет. Строить Высокий город – удел лиц духовных: радонежских, сорских, саровских...